



## Иоганн Вольфганг Гёте

### I

Имя Иоганна Вольфганга Гёте, величайшего поэта Германии и одного из замечательнейших ее мыслителей, принадлежит к лучшим именам, которыми гордится человечество. Его жизнь и деятельность неразрывно связаны с великим катаклизмом, преобразившим — под грохот войн и революций — Европу феодальную, дворянско-монархическую в Европу буржуазно-капиталистическую.

Гёте отчетливо сознавал, сколь многим он обязан своему времени, какое мощное воздействие на него оказали «грандиозные сдвиги в мировой политической жизни», как сказано им в предисловии к «Поэзии и правде», его знаменитой автобиографии. Но он же (в числе очень немногих) ясно уразумел, что буржуазно-капиталистическое мироустройство не является последним словом Истории. Прельстительный лозунг, провозглашенный Великой французской революцией — свобода, равенство, братство, — не был ею претворен в живую действительность. «Из трупа поверженного тирана, — говоря образным языком Гёте, — возник целый рой малых поработителей. Тяжкую ношу по-прежнему тащит несчастный народ, и в конце концов безразлично, какое плечо она ему оттягивает, правое или левое».

Не отрицая неоспоримых заслуг Первой французской буржуазной революции перед человечеством, Гёте отнюдь не считал достигнутого ею чем-то незыблемым. «Время никогда не стоит на месте, жизнь развивается непрерывно, человеческие взаимоотношения меняются каждые пятьдесят лет, — так говорил он своему верному Эккерману. — Порядки, которые в 1800 году могли казаться образцовыми, в 1850 году, быть может, окажутся гибельными». Прошлым становилась и Великая революция, да она отчасти уже и стала им еще при жизни Гёте. И, как все отошедшее в прошлое, станет и она «прилагать старые закостенелые мерки к новейшим порослям жизни... Этот конфликт между живым и отжившим, который

я предрекаю, будет схваткой не на жизнь, а на смерть». Живого, идущего на смену отжившему, не остановить ни «запретами», ни «предупредительными мерами».

Больше всего возмущало Гёте, когда его называли «другом существующих порядков». «Ведь это почти всегда означает быть другом всего устаревшего и дурного». С юных лет и до глубокой старости Гёте был великим тружеником и притом на самых различных поприщах деятельности. Недаром выдающийся русский ученый Климент Аркадиевич Тимирязев говорил о нем, что он «представляет, быть может, единственный в истории человеческой мысли пример сочетания в одном лице великого поэта, глубокого мыслителя и выдающегося ученого». В сферу его исследований и научных интересов входили геология и минералогия, зоология и ботаника, анатомия и остеология, акустика и физиологическая оптика; и в каждой из этих областей естествознания Гёте развивал столь же самостоятельную, новаторскую деятельность, как в привычной ему сфере поэзии.

В такой *универсальности* Гёте иные его биографы и исследователи XIX века видели только заботу «великого олимпийца» о всестороннем гармоническом развитии собственной личности. Плеханов решительно высказался против такого понимания универсальности великого немецкого поэта и мыслителя. «Индивидуальность Гёте должна быть заново изучена, — писал он в своей рецензии на повторное (четвертое) издание книги А. Шахова „Гёте и его время“, — и обязательно вразрез с устаревшим мнением о его мнимом равнодушии „к юдоли печали и скрежета зубовного“» (то есть к нуждам простого народа). Иначе как с этим совместишь такие высказывания поэта, как «Падения тронов и царств меня не трогают; сожженный крестьянский двор — вот истинная трагедия», или слова Фауста из знаменитой сцены «У ворот»:

А в отдаленье на поляне  
В деревне пляшут мужики.  
Как человек, я с ними весь:  
Я вправе быть им только здесь.

(Перевод Б. Пастернака)

Не олимпийское беспристрастие, а борьбу, упорные поиски истины всеми доступными путями и средствами — вот что на деле означала универсальность Гёте. Его обращение к различнейшим литературным жанрам и научным дисциплинам теснейшим обра-

зом связано с его страстным стремлением разрешить на основе все более обширного опыта постоянно занимавший его вопрос: как должен жить человек, ревнуя о высшей цели? «Вступая в общение с безграничной, неслышно говорящей природой», пылливо вникая в ее «открытые тайны», Гёте твердо надеялся постигнуть заодно и «загадку» исторического бытия человечества.

Мы знаем, нетерпеливая надежда увидеть своими глазами первые, еще смутные контуры «золотого века» хотя бы на малом участке Германии побудила Гёте на вершине его молодой славы откликнуться на призыв веймарского герцога, юного Карла-Августа — стать его ближайшим сотрудником, другом и наставником. Ничего путного из этого «союза» не могло получиться. Широко задуманный план политических преобразований остался неосуществленным, мечта о создании такого социального уклада на нашей планете, при котором свободное проявление высших духовных задатков, заложенных в душу человеческую, стало бы неотъемлемым свойством раскрепощенных народов, по-прежнему оставалась мечтой. Гёте резко порицал Карла-Августа за отступничество, его отзывы о нем становятся почти враждебными: «У герцога, в сущности, самые ограниченные воззрения. Решиться на отважный поступок он может разве сгоряча. Напротив, провести в жизнь смелый и развернутый план он не способен... Лягушка хоть и может какое-то время прыгать по земле, но создана она все-таки для болота».

А впрочем — как знать? — быть может, оно и лучше, что Карл-Август был не способен провести развернутый план намеченных политических преобразований? Вспомним в этой связи хотя бы о двух попытках осуществить под эгидой просвещенного абсолютизма ряд существенных буржуазных реформ в Европе XVIII века, а именно в Португалии, в царствование Иосифа I Эммануила при министре маркизе Помбале, и в Дании, в царствование Христиана VII при министре Струэнзе. И в том и в другом королевстве проведенные реформы были вскоре отменены в угоду ярому натиску дворянства: Помбалу было предложено подать в отставку, а датский министр был казнен по приговору королевского суда, подписанному вконец перепуганным, малодушным монархом. В таком карликовом государстве, как Саксен-Веймар, было достаточно сурового окрика Австрии или Пруссии, чтобы положить конец подобным либеральным затеям.

И все же картина лучшего будущего («Народ свободный на земле свободной») не померкла в душе создателя «Фауста». Но отныне



она рисовалась воображению поэта лишь в отдаленной перспективе всемирной истории человечества.

Другое дело, что путь, которым шел Гёте в поисках «высшей правды», не был неуклонно прямым путем. «Кто ищет, вынужден блуждать», — сказано в «Прологе на небе», предпосланном «Фаусту». Гёте не мог не блуждать, не ошибаться, не давать порою неверных оценок движущим силам всемирно-исторического процесса. Отчасти уже потому, что вся его могучая деятельность протекала в обстановке убогой действительности — в Германии, лишенной национально-политического единства и прогрессивного бюргерства.

## 2

Иоганн Вольфганг Гёте родился 28 августа 1749 года во Франкфурте-на-Майне, «вольном» имперском городе, одной из немногих патрицианско-бюргерских республик, вкрапленных в обширную, но — увы! — лишенную реального политического единства Священную Римскую империю германской нации (которая по справедливому саркастическому отзыву Вольтера не была ни священной, ни римской, ни германской). Полупризрачное существование этой древней державы, состоявшей из 300 самостоятельных и полусамостоятельных государств, пресеклось в 1806 году, когда этот зыбкий «фантом империи» бесславно пал под разящими ударами «нового Цезаря» — Наполеона.

Старый Франкфурт-на-Майне тогда еще сохранял свой былой готический облик: узкие улицы; нависавшие друг над другом этажи жилых домов; булыжная мостовая, лишь в редкие часы, при высоко стоящем солнце, не омраченная густой, почти беспросветной тенью. Здесь избирались и торжественно венчались короной Карла Великого католические государи обветшавшей и уже давно изжившей себя избирательной империи, хотя большинство обитателей имперского города составляли лютеране. Только они пользовались всеми правами франкфуртских граждан: ни католикам, ни реформаторам и уж тем более иудеям, загнанным в тесное гетто, таковые не были предоставлены.

Словом, Франкфурт поры детства, отрочества и ранней юности Гёте оставался городом наполовину средневековым и по внешнему, и по внутреннему общественно-бытовому его укладу. Согласно старинной конституции этой патрицианской республики во франкфуртском Городском совете имелись три депутатские скамьи. Пер-

вые две занимали именитые купцы-патриции и потомки старинного городского дворянства, а также ученые юристы. Только депутаты двух первых скамей могли занимать городские должности. Третья, неполноправная, предназначалась плебейм-ремесленникам, но лишь из тех цехов, что не участвовали в восстаниях против богатеев. Патриции и плебеи носили одежду, присвоенную их званиям городскими властями. Город был окружен крепостной стеной; ключи от городских ворот согласно давнему обыкновению на ночь вручались бургомистру.

На Мостовой башне вопреки всем превратностям времени и погоды еще уцелел посаженный на копье череп одного из четырех главварей бедноты, поднявшей — вот уже около полутора столетий назад — кровавый мятеж против правителей города; остальные копья давно пустовали. Но еще и теперь во Франкфурте казни совершались на городской площади при обильном стечении народа. Здесь же, уже после возвращения Гёте из Страсбургского университета, рубили головы и матерям-детоубийцам. Мир Фауста, мир Маргариты не романтическая декорация, восстановленная воображением поэта: в этом мире жил ребенком, отроком, юношей и автор «Фауста».

Отец величайшего поэта Германии, действительный имперский советник Иоганн Каспар Гёте (1710–1782), не мог похвалиться родовитостью. Он был сыном дамского портного, позднее виноторговца и владельца первоклассной гостиницы Фридриха Георга Гёте (1657–1730) родом из Тюрингии, где его родитель (прадед поэта) имел кузню. Сын предпочел копотному кузнечному горну, молоту и наковальне более сподручные портновские инструменты и с этой легкой поклажей напрямик направился в город Лион. Там сметливый подмастерье успешно обшивал и обряжал французских модниц и знатных иностранок, питая надежду в близком будущем открыть собственное портняжное заведение, жениться и навечно осесть в приглянувшейся ему «прекрасной Франции».

Но все его радужные мечты развеялись прахом. В 1685 году по безрассудному капризу Людовика XIV и его благочестивой наложницы де Ментенон был отменен Нантский эдикт о веротерпимости, некогда обнародованный Генрихом IV. А это означало изгнание из пределов королевства всех гугенотов и прочих приверженцев «*de la religion prétendue réformée*» («мнимо улучшенной религии»), то есть всех некатоликов, в том числе и лютеранина Жоржа Гетэ — Фридриха Георга Гёте.

Изгнанный портняжий подмастерье обосновался в вольном имперском городе Франкфурте-на-Майне и, сообразуясь с обычаями города, тотчас же женился на местной уроженке, чтобы обрести права франкфуртского гражданина, без чего он не мог бы стать мастером портняжного цеха. В 1701 году, овдовев, он женился вторично на состоятельной вдове Корнелии (урожденной Вальтер), принесшей в приданое мужу, помимо изрядного капиталца, и гостиницу «Вейденхоф», которая при новом хозяине стала едва ли не лучшей в городе.

Отдавая должное деловым качествам Фридриха Георга Гёте, франкфуртские старожилы тем единодушнее порицали его за непомерное самомнение — черту, общую всему его кряжистому крестьянскому роду. Деньги без почестей, без видного положения в обществе не тешили преуспевающего простолюдина. Тем истовее мечтал он о возвышении своего потомства. Правда, старший сын от первого брака сызмальства был безнадежно слабоумен. Но второй его отпрыск Иоганн Каспар, юноша способный, прилежный и, по папеньке, честолюбивый, давал все основания думать, что уж ему-то удастся войти в почтенное сословие ученых юристов и занять одно из первых мест в городской бюрократии.

Старику не довелось дожить ни до окончания его сыном Лейпцигского университета, ни до успешной защиты его ученой диссертации «*Electa de aditione hereditatis ex jure Romano et Patrio*»<sup>1</sup>. Но на этом, собственно, и оборвалась карьера новоиспеченного «доктора обоих прав». Тотчас по получении вожделенной ученой степени Иоганн Каспар Гёте отправился в долгое «образовательное путешествие» (что, по воззрениям того времени, приличествовало разве лишь дворянину или сыну именитого патриция), побывал в Нидерландах, в Париже, в Вене, в Швейцарии; почти три года странствовал по Италии, а на обратном пути — в течение семестра — возобновил свои юридические занятия в Страсбургском университете.

Во Франкфурт доктор Гёте возвратился только в 1742 году, почти позабытый своими земляками, и с ходу же удивил правителей города и впрямь беспримерным заявлением: он ходатайствовал о предоставлении ему вакантной второстепенной должности, какую брался отправлять безвозмездно, коль скоро он будет избавлен

---

<sup>1</sup> «О вступлении в права наследства согласно римскому и отечественному праву» (лат.).



от общеобязательной, но в его случае, как он полагал, вполне излишней, баллотировки.

Ходатайство, противоречившее законам и обычаям города, было отклонено с назидательной лаконичностью, и это так уязвило его, что он поклялся впредь никогда уже не поступать на городскую службу. Чтобы досадить своим обидчикам, «не оценившим его бескорыстие и немалую ученость», а заодно сразу же занять равное им положение в обществе, доктор Иоганн Каспар Гёте в том же 1742 году исхлопотал себе титул «действительного советника его римско-императорского величества», то есть попросту купил это почетное звание за триста тринадцать гульденов у вечно нуждавшегося в деньгах императора Карла VII.

Сравнявшись чином с первыми должностными лицами города, Иоганн Каспар Гёте само собою уже не мог служить на младших должностях, несовместных с его высоким званием. Но ничто не препятствовало «его превосходительству» вступить в сословие адвокатов или стать поверенным одного, а то и нескольких владетельных князей, поддерживавших торговые отношения с патрицианской республикой. Однако ни тот, ни другой вид юридической деятельности не отвечал его вкусам и убеждениям. Оскорбленный, разочарованный, он ушел в сугубо частную жизнь, так и не испробовав своих сил на каком-либо поприще.

Прошло еще шесть лет полупраздного, одинокого существования, прежде чем Иоганн Каспар Гёте, уже на тридцать девятом году жизни, женился на семнадцатилетней Катарине Элизабет Текстор, пусть бесприданнице, но как-никак девушке из весьма уважаемой семьи ученых правоведов.

Гордостью семьи Тексторов был отец нареченной невесты, Иоганн Вольфганг Текстор (1693–1771), дед великого поэта. Высокообразованный юрист и дельный чиновник, он с честолюбивым рвением поднимался по ступеням служебной лестницы и в 1748 году, не будучи ни патрицием, ни отпрыском старинного городского дворянства, достиг высшего поста в городе-республике, став «имперским и городским шультгейсом», то есть бессменным главою судебного ведомства и председателем городского совета, а заодно и наместником германо-римского императора, подданными которого числились «вольные горожане».

Сама фамилия рода Тексторов (или Веберов, как они раньше прозывались) указывала на то, что их предки занимались ткачеством («тектор» по-латыни, равно как «вебер» по-немецки, означает



«ткач»). Тем самым величайший поэт Германии не только со стороны отца, но и со стороны более «аристократической» материнской линии — потомок преуспевших престолюдинов.

В августе 1748 года состоялось венчание Иоганна Каспара Гёте с Катариной Элизабет Текстор. А через год, 28 августа 1749 года, «в полдень, с двенадцатым ударом колокола», появился на свет будущий величайший поэт Германии.

Роды были трудными. Они длились без малого трое суток, повивальная бабка вконец растерялась. Но фрау Корнелия, мать Иоганна Каспара, принялась усердно встряхивать и растирать вином маленькое тельце. «Советница, он жив!» — растроганно возвестила старая женщина, когда ее внучек широко раскрыл глаза — очень большие и темно-карие.

Такими большими темно-кариими глазами природа не наделила представителей ни рода Гёте, ни рода Тексторов. Были они у бабки поэта, Анны Маргариты Линдхеймер, в замужестве Текстор. Никто из родных ее детей не унаследовал ни ее темных больших глаз, ни величаво-простонародных черт ее и впрямь «итальянского» лица. Минувя ближайшее потомство, ее внешнее обличье передалось только ему, ее любимому внуку, и служило достойной оболочкой его «духовной суги», как то не раз отмечалось самим Гёте.

Странно, но ни «старая Линдхеймер», ни ее знаменитый внук ничего не знали о том, что одним из прямых ее предков (в восьмом колене) был замечательный немецкий художник XVI века Лука Кранах (1472–1553). Так или иначе, но его далекий славный потомок вплоть до своего второго пребывания в Риме (1787), то есть на тридцать восьмом году своей жизни, все никак не мог решить, кем ему быть: поэтом или живописцем. Тем более что природа не отказала ему и в этом даровании. Пейзажи Гёте, проникнутые тонким импрессионным лиризмом, куда интереснее декоративно-условных пейзажных полотен его современников-классицистов.

И все же истинно великим художником Гёте не был, что он и сам осознал на исходе своего двухгодичного пребывания в Италии. Но, навсегда порешив довольствоваться «только» деятельностью поэта, писателя и естественника, Гёте широко пользовался своим опытом творчески деятельного художника-живописца и на поприще литературы.

По тому, что было и что еще будет сказано о Гёте, да и самим Гёте, нетрудно заключить, что он-де является «живописцем в литературе». Слов нет, Гёте не скупился на похвалы *глазу*, вполне со-

зная, сколь многим он обязан «этому благороднейшему органу» и как поэт, и как пытливый естествоиспытатель. Более того, он не раз высказывался в том смысле, что зорко уловленная *наглядность* образа есть высшее мерило правдивости такового. И все же признание великого поэта всего лишь «живописцем в литературе» было бы по меньшей мере весьма неточно. Да, Гёте был и «живописцем в литературе», но вместе с тем и первым истинным в ней «музыкантом». В этом, как мы увидим, и заключалось его исключительное значение в истории мировой культуры.

Все, что мы знаем из лирики предшествующих эпох, включая сонеты таких гигантов, как Данте и Шекспир, по большей части «повествует» (трезво или, напротив, риторически-приподнято) о душевном состоянии поэта — в канонических формах, созданных веками и поколениями. Я не говорю уж о большинстве английских и французских современников Гёте, редко и с большим запозданием выходявших за пределы рассудочной культуры слова XVIII столетия. То, что отличает лирику Гёте от лирики его великих и малых предшественников, — это повышенная его отзывчивость на мгновенные, неуловимо-миготные настроения; его стремление — словом и ритмом — преображенно передавать живое биение собственного сердца, сраженного неодолимой прелестью зримого мира или же охваченного чувством любви, чувством гнева и презрения — безразлично; но, сверх и прежде всего, его способность мыслить и ощущать мир как неустанное *движение* и как *движение* же поэтически воссоздавать его.

Этот новый строй поэтического мышления и, соответственно, новый лад культуры слова не мог бы осуществить Гёте, будь он только «живописцем в литературе», не умея он вовлекать в гениальную круговерть поэтического творчества то, что было названо «экспрессивно-музыкальной стихией», добытой слухом, никак не зрением.

Конечно, «музыка в поэзии», «музыкальность поэзии», отнюдь не совпадает с музыкой в обычном ее понимании, равно как «живопись в литературе» никак не живопись как таковая — это только необходимые метафоры большого познавательного значения. Но Гёте, так явственно ощущавший соприсутствие «музыкального» начала в иных своих стихотворениях, не раз говорил, что они могут быть поняты читателем, только если тот будет, хотя бы про себя, напевать их. Как бы то ни было, но сколько «текстов» Гёте побудило его великих музыкальных современников — Моцарта, Бетховена, Шуберта и, позднее, Шумана положить их на ноты...

*Слух* был для Гёте чуть ли не равноправным органом восприятия (наряду со зрением), и притом не только на поприще поэзии, но и прозы.

Будущий поэт с младенчества и вплоть до поступления в Лейпцигский университет (1765) неизменно слышал вокруг себя верхненемецкий диалект — местный говор его родного города и края. Отец, имперский советник, усердно приучал детей, Вольфганга и Корнелию, а заодно и свою супругу, говорить «более литературно». Но в Вольфганга (не говоря уже о «госпоже советнице») прочно въелись многие диалектизмы — уже потому, что они им «нравались».

В Лейпциге своеобычное верхненемецкое наречие строго осуждалось. «Мне были запрещены парафразы из Библии, — пишет Гёте, — равно как пользование простодушными оборотами старинных хроник. Мне вменялось в обязанность позабыть, что я читал Геймера фон Кайзерсберга (1445–1510, страсбургского проповедника, отлично владевшего народной речью. — *Н. В.*), и отказаться от поговорок, которые не ходят вокруг и около, а прямо берут быка за рога. Я чувствовал себя внутренне парализованным и теперь не знал, в каких выражениях говорить о простейших вещах. К тому же мне внушали, что надо говорить, как пишешь, и писать, как говоришь, мне же изустная речь и литературный язык всегда представлялись явлениями друг от друга весьма отличными и способными постоять за свои далеко не однородные права».

Гёте с ранних лет и до гробовой доски всем сердцем любил простой народ, уважал его труд, его телесную и нравственную силу. Никакие пороки и неблагоприятности, бытовавшие в народе, не могли смутить его. Он умел отличать здоровое зерно в простом человеке от наносного, дурного, что пристало к нему под воздействием гнусной немецкой действительности, беспросветной нищеты и рабской зависимости. Гёте любил наблюдать трудовую и семейную жизнь простых людей — крестьянина, лесничего, горнорабочего. Для Гёте народ не был абстрактным понятием, как, скажем, для Вольтера, никогда не забывавшего о своем превосходстве над непросвещенным простолюдином.

Такая связь с народом, тесная солидарность с ним, с его жизненными интересами, с его радостями и горестями и составляла прочную основу *духовного демократизма* Гёте, всего его творчества, проникнутого высоким гуманизмом, да и всей его (во многом неудачно сложившейся) общественно-политической деятельности. Не слу-



чайно, конечно, что все созданные им наиболее обаятельные и трогательные образы — Гретхен («Фауст») и Клерхен («Эгмонт»), Марианна («Вильгельм Мейстер»), Филимон и Бавкида (5-е действие второй части «Фауста») — выходцы из народа. И все они гибнут, столкнувшись с беспощадным строем угнетателей. Такова *концепция трагического*, выстраданная великим поэтом.

### 3

Маленький Вольфганг не был вундеркиндом, да поэты и не бывают таковыми. Он учился легко у отца и других преподавателей. Что касается отца, то он, считаясь с нравом сына, «учил его всему шутя», но весьма основательно: французскому (впрочем, Вольфганг с ним познакомился и как неизменный посетитель французского театра, игравшего в оккупированном французами Франкфурте в пору Семилетней войны), а также итальянскому и, позднее, английскому, которому совместно с сыном и дочерью обучался и сам имперский советник, выступавший также и в роли учителя танцев.

Обучение происходило на дому, за вычетом нескольких месяцев, когда Вольфганг с большим недовольством посещал городское училище, что было вызвано перестройкой дома, предпринятой Иоганном Каспаром Гёте вскоре после смерти его матери, фрау Корнелии.

Гёте утверждал, что «многообразные системы, из которых состоит человек», часто «взаимовытесняют... более того, взаимно пожирают друг друга». С ним этого не случилось. Разнообразные блестящие способности подростка заставляли многих достойных людей видеть в нем наследника их профессий. Юный Гёте «тоже хотел сделать нечто из ряда вон выходящее», но ему «вожделенное счастье представлялось в виде лаврового венка, которым венчают прославленных поэтов».

С языком поэзии, с его усвоением обстоит не иначе, чем с усвоением просто языка: говорящие и тем более стихотворствующие младенцы не рождаются. Они перенимают язык с чьего-то голоса. Немецкую поэзию поры детства и отрочества Гёте нельзя отнести к эпохам ее мощного расцвета. Она никак не выдерживает сравнения с полногласной, исполненной трагизма поэзией времен Тридцатилетней войны. За сто лет, прошедших со дня рокового для немцев Вестфальского мира (1648), слезы повысыхали, возмущение

народа было подавлено, отчаяние притупилось. Воцарилась «мертвая зыбь» безвременья. Самобытные традиции мятежного XVI и трагического XVII веков, измельчав и потускнев, сохранились лишь в худосочных стихотворениях на библейские темы. Значительным лирическим даром обладал разве что Фридрих Готлиб Клопшток (1724–1803), но советник Гёте его не признавал, руководствуясь, надо думать, известным суждением Вольтера: «Писать нерифмованными стихами не труднее, чем сочинить письмо». Вольфганг Клопштока читал, но тайком от отца и не смея ему подражать. Остальные поэты держались общепринятой поэтики европейского Просвещения. Одни из них пели в сентиментальных гимнах хвалу Господу и Его премудрому творению, другие, напротив, писали сугубо светские стихи, добросовестно скопированные с ложноклассических образцов французских и итальянских анакреонтиков.

В Лейпциге, этом «маленьком Париже», студент Гёте примкнул к школе немецко-французской анакреонтики (родоначальником которой был Фридрих фон Гагедорн, а наиболее популярным, хотя и посредственным ее представителем — И.-В.-Л. Глейм). Таков был выбор молодого Гёте, и уж конечно не случайный. В центре анакреонтической поэзии как-никак стоял человек, пусть светский, беспечно срывающий «цветы удовольствия», но все же человек. Человек, но уже не «светский», — так только, на первых порах, а *Человек* с большой буквы, все разноликое людское племя, с его судьбами и конечным высоким его предназначением, и образует ту ось, вокруг которой вращается огромный мир великого поэта.

Ранние поэтические опыты Гёте еще мало разнились от стихов его прямых предшественников. Юный стихотворец легко усвоил их «галантные сюжеты» и кокетливые эпиграмматические «разрешения» рассудочных антитез — к примеру, противопоставление понятия «ночи вообще» понятию «ночи в объятиях любимой» («Прекрасная ночь»). Но и в этих ученических подражаниях сколько же живых, «необщих черт», предвещавших будущий облик поэзии Гёте! Возьмем хотя бы стихотворение «К Луне». И оно не свободно от условной ложноклассической поэтики: туманному лунному пейзажу рассудочно противопоставлена нескромная мечта поэта одолеть пространство, отделяющее его от возлюбленной, взглянуть на нее хотя бы сквозь «стеклянную ограду» заветного окна. Он молит Луну:

Созерца́нем хоть в ночи  
Скрашу горечь отдаленья.  
Обостри мне силу зренья,  
Взору дай твои лучи!  
Ярче, ярче вспыхнет он, —  
Пробудилась дорогая  
И зовет меня, нагая,  
Как тебя — Эндимион.

*(Перевод В. Левика)*

Эпиграмматически заостренная композиция сохранена и здесь. Но гармоническая разработка темы равно окутывала «фатой из серебра» и эту зыбкую лунную ночь, и эротическое видение заключительного четверостишия, в силу чего «антитеза» — скрытая насмешка поэта над собственным (только воображаемым) счастьем — почти не доходит до читателя, покоренного властными чарами этого лунного ноктурна.

Ученические годы поэта длились недолго. Гёте начал сознательно отступать от эстетического канона анакреонтиков еще в Лейпциге. Уже тогда им была написана «Элегия на смерть брата моего друга», в которой прорезались новые, непривычно страстные, порою даже гневно обличительные интонации, не имеющие ничего общего с изящным легкомыслием немецких классицистов.

Гёте всегда болезненно переживал все, что стесняло его развитие, его творчество. Такие кризисы духовного роста нередко кончались серьезными заболеваниями. Так было и в Лейпциге, где Гёте остро ощутил несостоятельность поэтики «немецкого рококо», точнее, все несоответствие его форм и содержания расширившемуся, пусть еще смутному, мировоззрению поэта. В одну июльскую ночь 1768 года кровь хлынула горлом у внезапно занемогшего юноши. Несмотря на вмешательство врачей, его здоровье не восстанавливалось. 28 августа, в день, когда Гёте исполнилось девятнадцать лет, он прервал свои (не слишком усердные) университетские занятия и спешно выехал во Франкфурт.

Два с лишним года, проведенных в родительском доме по болезни, так и не опознанной, и во время медленного выздоровления, были годами напряженной духовной подготовки к тому бурному творческому расцвету, которым ознаменовалось пребывание Гёте в Страсбурге, куда он прибыл летом 1770 года и где весной следующего года закончил свое юридическое образование.



В таком мизантропическом настроении не оправившийся от болезни юноша дружески сошелся со старшей подругой и уважаемой родственницей его матери, девицей Сусанной фон Клеттенберг, принадлежавшей к религиозной секте гернгутеров. Как многие ее единоверцы, она усердно занималась «тайными науками» и даже алхимией.

Тёте с интересом прислушивался к ее речам. Тем более что в его руки попал солидный и по-своему замечательный труд Готфрида Арнольда (1666–1716) «Беспристрастная история Церкви и ереси», произведший на него неизгладимое впечатление уже потому, что убеждения Арнольда во многом совпадали с его собственными.

Арнольд не без оснований назвал свой монументальный трактат, охватывающий историю христианских вероучений от «времен апостольских» до pietистов конца XVII века, *беспристрастным*. Его двухтомное сочинение и впрямь поражает необычной для того времени исторической объективностью — точнейшим пересказом воззрений как представителей официальной Церкви, так и поборников всевозможных «ересеучений».

Тем менее «беспристрастна» *концепция* его сочинения: в глазах Арнольда вся история Церкви равнозначна истории утраты Церковью «истинно христианской веры», «непосредственного общения с Богом». Такое «общение с Богом» предполагает в верующем «неиссякающий энтузиазм», а его-то и не терпит официальная Церковь, подменяя «чистое религиозное переживание» обрядностью и догматами. В официальной Церкви и в ее неустанной борьбе с теми, кого она зовет еретиками, Арнольд видел главную виновницу «нескончаемых бедствий так называемого христианства».

Немногих проникавших в суть вещей  
И раскрывавших всем души скрижали  
Сжигали на кострах и распинали,  
Как вам известно, с самых давних дней, —  
(Перевод Б. Пастернака)

вторит Арнольду автор «Фауста», переводя его обличительную прозу на бессмертный язык поэзии.

Готфрид Арнольд хотел перенести в свое время (конец и начало XVIII в.) дух мятежного XVI столетия. Но вместе с тем и дух обветшавшей мыслительности той отдаленной эпохи, как будто со времен Парацельса и Якоба Бёме ничего не изменилось в научном сознании человечества под воздействием эпохальных трудов Гали-

ля, Декарта, Спинозы, Лейбница и Ньютона и «христианское магическое естествознание» по-прежнему оставалось «последним словом» человеческой премудрости. Бесспорно, Парацельс (1493–1541), по праву считающийся «отцом немецкой пансофии», был истым сыном мятежного XVI века, во время Великой крестьянской войны горячо сочувствовавшим восставшему народу.

Не будем подробнее вникать в учения эпигонствующих пансофов. Каждый из них (будь то Георг фон Веллинг или особенно популярный Сведенборг) сочинял свою фантастическую космогонию. Удивительнее, что и юный Гёте с его ясным умом и проницательным глазом мог с 1768 по 1770 год принимать всерьез эти анахронические бредни и производить совместно с девицей фон Клеттенберг алхимические опыты, более того, сочинять в подражание пансофам свой собственный «космогонический символ веры» (он его излагает в конце восьмой книги «Поэзии и правды»). Но таково было веяние времени. XVIII веку присвоено имя века Просвещения, «века философии» — и с полным на то основанием, если иметь в виду наиболее выдающихся его представителей. Но тот же век крупнейших научных завоеваний был вместе с тем и веком широчайшего распространения «тайных наук», веком повышенного интереса ко всему «чудесному», иррациональному, трансцендентному.

Не будем жалеть, что и Гёте на малый срок углубился в эти пансофские дебри. Не случись этого, не вдохни он в себя полной грудью воздуха позднего Средневековья, он едва ли бы мог создать своего «Фауста». Ведь и Фауст, подобно своему создателю, выбирался из бездны бесплотного суемудрия на вольный простор «более чистого восприятия действительности»:

О, если бы мне магию забыть.  
...Брось вечность утверждать за облаками!  
Нам здешний мир так много говорит.

*(Перевод Б. Пастернака)*

Окончательный и бесповоротный разрыв Гёте с пансофскими бреднями произошел после страсбургской встречи с Гердером. Для Гердера магия была давно отжившим свой век этапом в истории духовной культуры. Почитать «магическое постижение природы» незыблемой Божественной правдой, по его убеждению, означало не понимать «истинной сути Божественного откровения». Неизменны-де «не содержание и буква однажды явленного открытия», а те

«духовные силы, коими Бог наделил человека» — так утверждал этот свободомыслящий богослов. «В наши дни посланцами Бога являются Ньютоны и Лейбницы, подобно тому как в первобытные времена оными являлись и Моисей, и Давид, и Иов».

Тех же воззрений держался теперь и страсбургский студент Вольфганг Гёте. Стоило ему убедиться в несостоятельности магического естествознания, как он тут же с необычайной легкостью отрешился и от «христианского энтузиазма». «Те, кто видят в набожности самоцель и конечное назначение, обычно впадают в ханжество», — скажет Гёте позднее (в «Максимах и рефлексиях»).

#### 4

Вестфальский мир 1648 года, положивший конец Тридцатилетней войне (1618–1648), оставил западную прирейнскую Германию в состоянии феодальной раздробленности и беззащитности. Ничто не препятствовало ее захвату Французским королевством, впрочем позволившим себе вполне излишнюю роскошь каждый раз юридически обосновывать право французской короны на владение той или иной прирейнской территорией. В 1675 году Эльзас был, собственно, уже завоеван; в 1681-м та же участь постигла и пограничный Страсбург.

Ко времени поступления Гёте в Страсбургский университет прошло ровно девяносто лет, как Эльзас вошел в состав Франции, над которой уже начинали сгущаться грозовые тучи медленно надвигавшихся политических событий. Уже многие, не таясь, поговаривали о предстоящих переменах. Велись такие разговоры и среди «des sujets allemands du roi de France» (немецких подданных французского короля). Но до прямой оппозиции по отношению к Франции здесь дело не доходило, солдаты, шагая по улицам города, горланили немецкие песни французско-патриотического содержания, офицеры — почти сплошь немецкие аристократы — перед строем и в своем кругу говорили и думали по-французски.

И все же в завоеванной французами прирейнской Германии немцы осознавали себя только немцами, в то время как в феодально-раздробленной германо-римской империи по-прежнему противостояли друг другу австрийцы, пруссаки, саксонцы, баварцы и т. д. Лишь в Страсбурге, куда по прихоти судьбы съехались почти одновременно Гёте и Гердер, Ленц и Вагнер и прочая одаренная молодежь, и могла зародиться так называемая литература «Бури и на-



тиска», привнесшая в лирику, в драму, в повествовательную прозу столь недостававшее литературной Германии национально-немецкое содержание.

«Бурные гении» ополчались не только на гнетущую обстановку в Германии, но и на все обветшавшие устои дореволюционной Европы XVIII века. И в первую очередь — на Францию, включая и ее литературу, которая, по их убеждению, «была стара и аристократична, как сама по себе, так и благодаря Вольтеру». Гердер, признанный идеолог течения, внушал своей литературной пастве, что не холодный рассудок, а горячее сердце творит язык поэзии — и не по прописям «кабинетного» классицизма, а «изнутри», как творят безыменные создатели народных песен, как творили Гомер и Пиндар, Шекспир и легендарный Оссиан. Гердер был первым эстетиком XVIII века, преодолевшим рассудочность теоретиков искусств его времени (не исключая такого гиганта, как Лессинг). Это ему впервые удалось — как эстетика и поэту-переводчику — раскрыть безбрежно богатый лирический мир, поющий голосами всех народов Востока и Запада.

Нетрудно себе представить, какие широкие горизонты открыла встреча с Гердером молодому Гёте: «Я вырвался на свежий воздух и впервые почувствовал, что у меня есть руки и ноги». Уже в первых любовных песнях, обращенных к Фридерике Брион, бывшая наигранная «светскость» сменилась непринужденной сердечностью, весело вторящей девичьим голосам дочерей зезенгеймского пастора. Здесь, в Страсбурге и в буколическом Зезенгейме, юность неожиданно обрела свой собственный, только ей присущий язык. Ликующая «Майская песня» и дышащее неподдельной страстью «Свидание и разлука» — первые гениальные образцы поистине новорожденной лирики Гёте. Позднее, в 1775 году, Гёте написал свое «На озере», где на протяжении всего двадцати строк трижды меняется стихотворный размер, мгновенно откликаясь на каждую перемену, происходящую в природе и во взволнованном сердце поэта.

Совсем особое место в раннем творчестве Гёте занимают его так называемые «большие гимны», написанные вольными ритмами. В них, быть может, особенно ярко проявляется способность Гёте мыслить и поэтически воссоздавать зримый и душевный мир в их неразрывном единстве и неустанном движении. Отсюда их необычайное ритмическое и лексическое богатство, отсюда же и отчетливая периодизация их «ритмического дыхания». Тут каждая стро-

фа — своего рода «выдох» неодинаковой длительности, отчего строфы, соответственно, разнятся друг от друга числом строк и «тактических» единиц.

В Страсбурге Гёте живет повышенно интенсивной жизнью, наполненной до краев разными событиями, впечатлениями, переживаниями. Сдавши экзамен за весь курс обучения еще в сентябре 1770 года, Гёте уже не посещает лекций профессоров-правоведов, но тем усерднее — лекции медиков и химиков. Работает в университетской клинике. Пешком и верхом блуждает по красивым окрестностям города, собирая, по совету Гердера, народные песни. Как всегда, часами беседует с крестьянами, угольщиками, вникая в их быт и труд, перенимая с их голоса сильный и самобытный язык народа.

Тогда же Гёте переживает глубокое сердечное увлечение дочерью зезенгеймского пастора Фридерикой Брион, с каковым не выдерживают сравнения ни его детская любовь к некой Гретхен, ни галантное ухаживание за кокетливой простушкой Кетхен Шенкопф (в его лейпцигские годы).

Образ Фридерики «во всей его ласковой прелести» вошел в душевный мир молодого поэта, запечатлелся в его стихах. Через несколько недель молодые люди были помолвлены. Но свадьба не состоялась. В августе 1772 года, сейчас же по получении ученой степени, Гёте спешно покинул Эльзас. И это означало разрыв. Юный Гёте меньше всего годился для сельской идиллии, для такого счастья. «Приятная местность, люди, которые любят меня, дружеский круг, — так пишет он близкому другу еще будучи женихом. — Уж не те ли это сады фей, о которых я некогда грезил? Да-да, это они! Я это чувствую, милый друг! Но чувствую также, что ни на волос не приблизился к счастью, даже теперь, когда сбылись мои упования».

Развязка зезенгеймского романа была трагична. Для Гёте она означала отказ от столь, казалось бы, желанного счастья — отказ, тем более скорбный, чем печальнее была судьба брошенной им девушки, уже нареченной его невесты. Тут ключ к «Фаусту», к его первой «субъективной» части...

В Страсбурге в фантазии поэта ожили два могучих образа, вскормленных духом мятежного XVI века, который расценивался молодым вождем литературы «Бури и натиска» как напутственный дар, ему врученный драматическим прошлым его родины, —

Гец фон Берлихинген и Фауст, чьи судьбы, как представлялось Гёте, стояли в тесной связи с судьбами его народа.

В жилах Гёте, образно выражаясь, текла не только кровь его, восемнадцатого, века, но и кровь мятежного, столь богатого грозными событиями шестнадцатого века — эпохи немецкой Реформации и Великой крестьянской войны 1525 года. Гец фон Берлихинген, каким его создал Гёте, был «муж, которого ненавидят князья и к кому обращены взоры всех угнетенных, борец за национальное сплочение Германии». И Фридрих Энгельс был прав, назвав это юношеское произведение поэта «драматическим восхвалением памяти революционера». Но сего высокого наименования заслуживал гётевский идеализированный образ Геца, а никак не исторический носитель этого имени, возглавивший «Светлый отряд» восставших крестьян, чтобы вскорости их бесчестно предать кровожадному карателю ландграфу Ульриху Вюртембергскому. Исторический рыцарь Гец фон Берлихинген с железной десницей не умер от ран и увечий в тюремном саду в 1525 году, а мирно почил в родовом замке в 1562 году, написавши неповрежденной левой рукой свои криводушные покаянные мемуары, легшие в основу драматического первенца Гёте. Иными словами, гётевский Гец легендарен. Но именно эта легендарность, привнесенная поэтом в его драму, и сообщила ей внутреннюю историческую правду и обострила ее политическую актуальность. Ведь задача национального сплоченного немецкого народа, которую тщетно пыталось разрешить в XVI веке низшее немецкое дворянство (наиболее «национальное сословие» империи, по определению Энгельса), в XVIII веке столь же неотступно стояла перед немецким бюргерством, оставаясь по-прежнему неразрешимой.

Драматическое действие в «Геце», говоря словами Гёте, «вращается вокруг скрытой точки... где вся самобытность нашего Я и дерзновенная свобода нашей воли сталкиваются с неизбежным ходом целого». Время («неизбежный ход целого») благоприятствовало торжеству своекорыстного княжеского сепаратизма, предвещая гибель Геца. И все же, когда легендарный герой восклицает перед смертью: «Какой воздух! Свобода! Свобода!» — это не только риторическая драпировка, прикрывающая его трагически бесславную гибель. Автор верил, что «бесполезный подвиг» героя будет еще довершен человечеством, если его образ сохранится в народной памяти. «Горе потомству, если оно тебя не оценит!» — таковы последние слова трагедии. Но в то время как работа над первыми



картинами «Фауста» была отложена более чем на два года, «Гец фон Берлихинген» всецело завладел воображением Гёте в первые же месяцы по его возвращении во Франкфурт.

Впрочем, литературная деятельность молодого Гёте не ограничилась одной лишь художественной сферой. Он усердно работал также постоянным рецензентом и во «Франкфуртском ученом вестнике», пропагандировавшем идеи «Бури и натиска». С почтением назывались в этом кругу имена Гердера, Лессинга, Клопштока, но высшим воплощением поэзии сотрудники названного журнала почитали Шекспира. Пламенем титанов представлялись им его герои с их большими характерами и страстями. «Шекспирианство» Лессинга, Гердера, молодого Гёте, при всем несходстве их эстетических воззрений, объединялось единым стремлением: призвать современность перерастить скудные пределы безропотной рабской психологии, восстать против гнетущей немецкой действительности с ее обветшалыми феодальными учреждениями.

Создав своего «Геца», эту обширную историческую панораму эпохи Реформации и Великой крестьянской войны, Гёте сразу же стал популярнейшим писателем Германии. Уже не всегерманскую, а всемирную славу принесло ему второе крупное его произведение — «Страдания юного Вертера», роман, в котором с потрясающей силой показана трагическая судьба одаренного юноши, вся гибельность (для народа, для отдельного человека) дальнейшего существования в Германии обветшавших феодальных порядков.

Быть может, лучше всего раскрывает суть злосчастной любви Вертера к «Лотте, бесценной Лотте» мысль, высказанная Стендалем в трагический миланский период его страстного увлечения Метильдой Висконтини: «Мне кажется, покончить с собой помешал мне тогда интерес к политике». На пути Вертера к самоубийству не было такой спасительной помехи. Трагедия «мятежного мученика», как назвал Вертера Пушкин, не только трагедия злосчастной любви, но и трагедия вынужденного бездействия (и притом политического).

Трудно назвать другое произведение немецкой литературы, вызвавшее при своем появлении такой страстный отклик в сердцах современников, немецких и зарубежных, как «Страдания юного Вертера». Гёте не без гордости писал в своей автобиографии: «Действие моей книжечки было велико, можно сказать, даже огромно — главным образом потому, что она пришлась ко времени. Как клочок тлеющего трута достаточно, чтобы взорвать большую мину, так

и здесь взрыв, происшедший в читательской среде, был столь велик потому, что юный мир сам уже подкопался под свои устои». «Вертер» переводится на все европейские языки, в том числе и на русский. Во Франции им зачитываются просвещенные аристократы и будущие участники Великой революции, а также Наполеон Бонапарт — тогда еще безвестный артиллерийский лейтенант. Он возьмет с собой «Вертера» и в свой египетский поход.

Историческое значение «Вертера» заключается прежде всего в том, что Гёте удалось вместить в эту небольшую книжку некоторые центральные, наиболее жгучие проблемы его времени. Это не значит, конечно, что «Вертер» не является вместе с тем одним из замечательнейших романов о любви. Совсем напротив. До «Вертера» не было романа, так точно и проникновенно воссоздававшего психологию страсти, своеобычность женского и мужского чувства и — рядом со светлыми картинами преданной любви, а также теплого уюта простой бюргерской семьи (отчего дома Лотты) — столько бездн, столько мрачных искушений, одному из которых, самоубийству, и поддался мятежный страдалец.

В первой части романа повествуется об истории зарождения и развития любовного чувства Вертера к Шарlotte, невесте его друга Альберта. Не желая нарушить чужого счастья, смутить покой любимой девушки, Вертер находит в себе душевные силы оторваться от предмета своей несчастной страсти. Он уезжает, поступает на государственную службу, хочет уйти с головой в практическую деятельность.

Этот план терпит крушение. Способному, самолюбивому юноше приходится служить под началом придирчивого, недалекого педанта, который занимает должность посланника лишь по праву рождения. Этого мало: Вертер подвергается оскорблению в доме графа фон К., когда он простодушно засиживается после обеда у благоволящего к нему хозяина.

Только после крушения служебной карьеры Вертер вторично встречается с Лоттой. Теперь трагическая развязка неизбежна, ибо юноше некуда бежать от своей страсти: ведь он вполне убежден, что практическая деятельность для него сопряжена с постоянными унижениями. Вертер уходит в себя, всецело отдается снедающему его страстному чувству. Он видит также, что напрасно уступил Альберту возлюбленную. Вертер и Лотта предназначены друг для друга. Теперь, когда Лотта — жена Альберта, юноша сделал трагическое открытие, что и она его любит.

Вертер на каждом шагу убеждается в бесчеловечности и жестокости окружающей его действительности. Жертвой того же косяно, беспощадного миропорядка на его глазах становится простой крестьянский парень, горячо полюбивший свою хозяйку. Быть может, она бы и ответила взаимностью своему батраку, но жадной женщиной родне, ждущей наследства от бездетной вдовы, удалось их посорить. Парень терпит и это. Но когда любимая им женщина выходит замуж за другого — вполне к ней равнодушного, расчетливого человека, несчастный в приступе безотчетной ярости убивает своего соперника. Так из-за гнусных козней, из-за стремления жадной родни приумножить свое благосостояние любовь и верность, лучшие человеческие чувства, привели к насилию и убийству. «Тебе нет спасения, несчастный! Я вижу, что нам нет спасения!» — мысленно говорит Вертер своему собрату по страданиям.

На столе в комнате самоубийцы лежала открытой «Эмилия Галлотти» — пьеса Лессинга, в которой великий немецкий просветитель всего решительнее восстает против произвола тиранов. «Вертера похоронили около одиннадцати часов ночи, на том месте, которое он сам для себя выбрал... Гроб несли мастеровые. Никто из духовенства не сопровождал его...»

В одном из первых отзывов на «Вертера» рецензент (Мерк), ссылаясь на небывалый успех романа Гёте, утверждал, что и ничтожнейший клочок действительности должен изображаться на основании той же действительности, наблюдаемой вовне или внутри нашего существа. И правда, в «Страданиях юного Вертера» «все пережито», но, конечно, воссоздано не так, как это было в жизни, то есть в узколичном опыте автора романа.

Записавшись по приезду в Вецлар (в мае 1772 г.) адвокатом-практиком, Гёте почти не заглядывал в здание судебной палаты. Большую часть времени он проводил в так называемом Немецком доме, куда его влекло чувство к Лотте Буфф, дочери управляющего экономиями Тевтонского ордена, невесте секретаря ганноверского посольства Иоганна Кристиана Кестнера, с которым Гёте состоял в тесной дружбе. 11 сентября того же года Гёте покидает Вецлар, решив вырваться наконец из унижительно-двусмысленного положения, в котором он очутился. Искренний друг Кестнера, он любит Лотту, и она не остается равнодушной к этому непонятному ей, но неизъяснимо обаятельному юноше.

И вдруг, ни с кем не простившись, Гёте пишет им такую прощальную записку: «Он ушел, Кестнер! Когда вы получите эти стро-



ки, знайте, что он ушел... Теперь я один и вправе плакать. Оставляю вас счастливыми, но не перестану жить в ваших сердцах». Мотивы отступничества остались, по сути, теми же, что и в случае с Фридерикой Брион; как тогда, так и теперь Гёте не решался на счастье за невозможностью воспользоваться им. Это не делало новый разрыв менее болезненным и горьким.

Месяц спустя кончает самоубийством Иерузалем, влюбленный в жену своего сослуживца. Обстоятельный отчет Кестнера об этом событии приходит во Франкфурт в первых числах ноября. Гёте потрясен настигшей его вестью. Кестнеровский отчет будет почти дословно воспроизведен в финале романа в виде «сообщения от издателя». Но «последним толчком, от которого вода в сосуде превращается в ледяную глыбу», как выразился Гёте, весть о гибели Иерузалема все же не стала: «Вертер» был написан много позже, в 1774 году. Гёте широко использовал в романе и свои вецларские письма к другу Мерку. Все это, как и позднейший эпизод его биографии: любовная дружба с Максимилианой Brentано, пресеченная ее ревнивым мужем, — вошло в его книгу.

Еще во Франкфурте, всеми прославляемый до небес, автор не без горечи ощущал, что уже исчерпал себя как поэт, как писатель «Бури и натиска», что мятежные его творения не имеют под собой твердой исторической почвы. Предаваться и впредь беспоследственному призыву к действию в политически инертной Германии он не мог и не хотел. Для того чтобы уяснить себе, чем и как воздействовать на своих сограждан, надо было самолично заглянуть в реторту мировой истории.

А этого-то и нельзя было сделать, уступив своему влечению, своей любви к Лили Шёнеман, прелестной дочке франкфуртского банкира. О, эти быстро наступавшие октябрьские ночи, когда он часами бродил в темноте вокруг ее дома в надежде увидеть ее тень, проплывающую по оконным занавескам. Вот она подходит к кла-весину.

Что влечет меня неудержимо, —

выводит ее чистый девичий голос. То была песня, сочиненная им в лучшую пору их любви. Голос замолк. Лили беспокойно зашагала по комнате, видимо думая о нем. Сердце Гёте учащенно заби-лось. Кровь отхлынула от щек. Он был близок к обмороку. Нет, надо бежать, и немедленно, сейчас же ехать к юному Карлу-Августу! Во Франкфурте он больше не мог оставаться. Седьмого ноября

# Содержание

<i>Н. Вильмонт. Иоганн Вольфганг Гёте</i> .....	5
<b>БАЛЛАДЫ</b> .....	47
Цыганская песнь. <i>Перевод Н. Вильмонта</i> .....	49
Фиалка. <i>Перевод Н. Вильмонта</i> .....	50
Приветствие духа. <i>Перевод Ф. Тютчева</i> .....	50
Рыбак. <i>Перевод В. Жуковского</i> .....	51
Лесной царь. <i>Перевод В. Жуковского</i> .....	52
Певец. <i>Перевод Ф. Тютчева</i> .....	53
Коринфская невеста. <i>Перевод А. Толстого</i> .....	54
Бог и баядерка. <i>Перевод А. Толстого</i> .....	60
<b>СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА. Роман. Перевод Р. Эйвадиса</b> .....	63
<b>ГЕРМАН И ДОРОТЕЯ. Поэма. Перевод А. Фета</b> .....	177
<b>ФАУСТ. Трагедия. Перевод Н. Холодковского</b> .....	231

**Gёте И. В.**

Г 44 Малое собрание сочинений / Иоганн Вольфганг Гёте ; пер. с нем. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 704 с.

ISBN 978-5-389-10948-3

Иоганн Вольфганг Гёте — поэт, общественный деятель, мыслитель и естествоиспытатель, проживший жизнь, богатую яркими событиями, впечатлениями и кипучей деятельностью, — составляет вечную гордость и славу Германии. В настоящем томе представлена лишь часть бессмертного наследия великого поэта: в том включены созданные им баллады, роман «Страдания юного Вертера» (в новом переводе Романа Эйвадаса), поэма «Герман и Доротея», а также знаменитая, ставшая вершиной мировой литературы трагедия «Фауст», посвященная вечным темам познания жизни и трудности человеческого пути.

УДК 821.112.2

ББК 84(4Гем)-44-5-6



Литературно-художественное издание

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ  
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Ответственный редактор Кирилл Красник  
Художественный редактор Виктория Манацкова  
Технический редактор Татьяна Тихомирова  
Компьютерная верстка Ирины Варламовой  
Корректоры Вера Дроздова, Маргарита Ахметова,  
Анна Быстрова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 21.03.2018.  
Формат издания 60 × 90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать офсетная.  
Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 44. Заказ №

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1  
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге  
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А  
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)  
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт».  
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,  
комплекс № 3А.  
www.pareto-print.ru



Y-AMS-18979-03-R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01.

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

[www.azbooka.ru](http://www.azbooka.ru),

[www.atticus-group.ru](http://www.atticus-group.ru)

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

[www.azbooka.ru/new\\_authors](http://www.azbooka.ru/new_authors)